



ГИ

*«Как мало нужно, чтобы
взволновать сердце мужчины,
старящего мужчины, у которого
воспоминания переходят
в сожаления!»*

Ги де Мопассан

ДЕ МОПАССАН

СИЛЬНА КАК СМЕРТЬ

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Эксклюзивная классика (АСТ)

Ги де Мопассан
Сильна как смерть

«Издательство АСТ»

1889

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44

де Мопассан Г.

Сильна как смерть / Г. де Мопассан — «Издательство АСТ»,
1889 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-135109-0

Художник не в силах прожить без музыки, а мужчина — без любящей и любимой женщины. Для Оливье Бертена, которому талант портретиста принес богатство и славу, муза и возлюбленная объединились в красавице Анне, графине де Гильруа. Верность друг другу любовники сохраняли долгих двенадцать лет. Но вдохновение переменчиво, а страсть капризна. Анна стареет, красота ее блекнет. Все меньше она привлекает Оливье и как мужчину, и как творца. С ужасом осознает он, что с каждым днем все сильнее и безнадежнее влюбляется в юную дочь Анны, в которой будто вернулась на землю молодость матери...

УДК 821.133.1-31

ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-17-135109-0

© де Мопассан Г., 1889

© Издательство АСТ, 1889

Содержание

Часть первая	5
I	5
II	25
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Ги де Мопассан

Сильна как смерть

Часть первая

I

Дневной свет падал в просторную мастерскую из открытого в потолке окна – большой квадрат яркого голубого сияния, просвет в бесконечную лазурную даль, где мелькали быстро пролетающие птицы.

Но, едва проникнув в высокую, строгую, задрапированную коврами комнату, радостное сияние дня тотчас же ослабевало, смягчалось, угасало в складках тканей, потухало в портьерах, меркло в темных углах, где лишь золоченые рамы загорались яркими бликами. Казалось, сон и покой были замкнуты здесь, покой, присущий жилищу художника, где творчески трудился человек. В этих стенах, где мысль живет, где мысль волнуется, истощаясь в могучих усилиях, лишь только она успокаивается, все начинает казаться усталым, подавленным. После ярких вспышек жизни все как бы замирает, отдыхает – и мебель, и драпировки, и неоконченные портреты знаменитостей, – словно и жилище истомлено усталостью хозяина, словно оно трудилось с ним вместе, участвуя в ежедневно возобновляющейся борьбе.

Еле уловимый дурманящий запах красок, скипидара и табака, пропитавший ковры и кресла, носился в воздухе. Глубокая тишина нарушалась лишь резкими, отрывистыми криками ласточек, мелькавших над открытым окном, и непрерывным невнятным гулом Парижа, глухо отдававшимся над крышами. Все было неподвижно, только время от времени уносилось к потолку облачко голубого дыма: растянувшись на диване, Оливье Бертен медленно курил папиросу.

Задумчиво глядя в далекое небо, он искал сюжет для новой картины.

Что напишет? Он еще не знал. Бертен не был решительным, уверенным в себе художником; это была натура беспокойная, и его неустойчивое вдохновение беспрестанно колебалось между разнообразными проявлениями его художественных исканий. Он был богат, знаменит, добился всяческих почестей, но до сих пор, уже на склоне жизни, не знал, в сущности, к какому идеалу шел. Он получил римскую премию, отстаивал традиции, воссоздавал, подобно многим своим предшественникам, великие исторические события, но потом, модернизируя свои искания, начал писать современников, придерживаясь классических приемов. Умница, энтузиаст, упорный труженик, хотя и подвластный переменчивой мечте, влюбленный в свое искусство и владея им в совершенстве, одаренный тонкой интуицией, он достиг замечательного мастерства в исполнении и большой гибкости таланта, развившейся отчасти благодаря колебаниям и попыткам работать во всех жанрах. Быть может, внезапное увлечение светского общества изящными, изысканными и корректными произведениями художника также повлияло на него и помешало ему быть таким, каким он стал бы при других условиях. После шумного успеха в самом начале своей карьеры желание нравиться безотчетно томило его, незаметно изменяло его путь, смягчало его убеждения. Впрочем, это желание проявлялось у него во всевозможных формах и немало способствовало его славе.

Приветливость его манер, все его житейские привычки, старательный уход за собою, давняя репутация сильного и ловкого фехтовальщика и наездника тоже кое в чем содействовали его возрастающей известности. После «Клеопатры», первого полотна, прославившего его в свое время, Париж внезапно влюбился в него, сделал своим избранником, окружил почестями,

и он вдруг сразу стал одним из тех блестящих светских художников, которых встречаешь на прогулках в Булонском лесу, которых оспаривают друг у друга гостиные, которых еще молодыми принимают в институт. И он вступил туда как победитель, признанный всем городом.

Так, балуя и лаская, вела его Фортуна до самого приближения старости.

Сейчас, под обаянием чудесного ликующего дня, он пытался найти поэтический сюжет. Слегка отяжелев от завтрака и папиросы, он мечтал, глядя в пространство, и перед ним, на фоне лазурного неба, возникали фигуры грациозных женщин в аллеях парка или на тротуаре улицы, влюбленные пары на берегу реки, изящные видения, пленявшие его мысль. Один за другим вырисовывались на небе изменчивые образы, расплываясь и ускользая, как в красочной галлюцинации, а ласточки, подобно пущенным стрелам, в непрерывном полете рассекая пространство, казалось, хотели стереть эти образы, перечеркнуть их взмахами крыльев.

Бертен ни на чем не мог остановиться! Мелькавшие перед ним лица были похожи на те, что давно уже были им написаны, все представлявшиеся ему женщины были дочерьми или сестрами тех, которых когда-то уже создала его прихоть художника; страх, пока еще смутный, но преследовавший его уже целый год, страх перед тем, что он выдохся, что круг его сюжетов замкнулся, что его вдохновение иссякло, стал ощутимее при этом обзоре уже созданного им, при этом бессилии придумать что-то новое, открыть что-то еще неизвестное.

Он лениво поднялся, чтобы поискать в папках, среди незаконченных набросков, что-нибудь, что подало бы ему какую-то идею.

Дымя папиросой, он принялся перелистывать эскизы, наброски, рисунки, хранившиеся под ключом в большом старинном шкафу, но ему скоро наскучили эти тщетные поиски, он устал от них; бросив папиросу, засвистал какой-то избитый уличный мотив и, нагнувшись, вытащил из-под стула валявшуюся там тяжелую гимнастическую гирию.

Откинув драпировку с трюмо, служившего ему для наблюдения за правильностью позы, для проверки перспективы и верности изображения, он стал перед зеркалом и начал упражняться.

Когда-то он славился в мастерских своей силой, как потом в светском обществе – своею красотой. Теперь, с возрастом, он отяжелел. Высокий, широкоплечий, с могучей грудью, он, как старый цирковой борец, обзавелся брюшком, несмотря на то что продолжал ежедневно фехтовать и много ездил верхом. Голова, как и раньше, была замечательно красива, хотя время оставило на ней свой след. Седые волосы, густые и короткие, подчеркивали живость его черных глаз под густыми седеющими бровями. Длинные темные усы, настоящие усы старого солдата, почти не поседели и придавали лицу редкое выражение энергии и гордости.

Выпрямившись перед зеркалом, сдвинув пятки, он проделывал все предписанные упражнения чугунными шарами, держа их на вытянутой мускулистой руке, и следил довольным взглядом за ее размеренными мощными усилиями.

Но вдруг он увидел в зеркале, где отражалась вся его мастерская, как шевельнулась портьера, а затем показалось женское лицо. За его спиной раздался голос:

– Дома?

Обернувшись, он ответил:

– Да.

И, бросив гирию на ковер, побежал к двери с несколько деланой легкостью.

Вошла женщина в светлом платье. Они пожали друг другу руки.

– Занимались гимнастикой? – спросила она.

– Да, я красовался тут, как павлин, и вы застигли меня врасплох.

Она засмеялась.

– В швейцарской никого не было; я знаю, что вы в это время всегда одни, и вошла без доклада.

Он смотрел на нее.

– Черт возьми! Как вы хороши! Что за шик!

– Да, на мне новое платье. Как вы находите? Красиво?

– Очаровательно, какая гармония! Надо сказать, что теперь понимают толк в оттенках.

Он ходил вокруг нее, ошупывал ткань, поправлял кончиками пальцев расположение складок, как знаток женских туалетов, который не уступит дамскому портному. Недаром в течение всей жизни он все свое художественное воображение и атлетические мускулы употреблял на то, чтобы тонкою бородкой кисти передавать изменчивые и прихотливые моды, раскрывая женственную грацию, то скованную бархатной или шелковой кольчугой, то скрытую под снегом кружев.

Наконец он объявил:

– Весьма удачно. Очень вам к лицу.

Она не мешала любоваться собою, радуясь, что хороша и нравится ему.

Уже не первой молодости, но еще красивая, не очень высокого роста, немного полная, она блистала той яркой свежестью, которая придает сорокалетнему телу сочную зрелость, и была похожа на одну из тех роз, которые распускаются все пышнее и пышнее, пока не расцветут слишком роскошно и не опадут за один час.

Светлая блондинка, она сохранила резвую юную грацию парижанок, которые никогда не стареют; обладая поразительной жизненной силой, каким-то неисчерпаемым запасом сопротивляемости, они в течение двадцати лет остаются все такими же, несокрушимыми и торжествующими, прежде всего заботясь о своем теле и оберегая здоровье.

Она приподняла вуаль и прошептала:

– Что же, меня не поцелуют?

– Я только что курил.

– Фу! – сказала она, но протянула губы. – Все равно!

И уста их встретились.

Он взял у нее зонтик и снял с нее весенний жакет быстрыми, уверенными движениями, привычными к этой интимной услуге. А когда она села на диван, заботливо спросил:

– Как поживает ваш муж?

– Превосходно. Он, должно быть, произносит сейчас речь в палате.

– А! О чем это?

– Наверно, о свекле или репейном масле, как всегда.

Ее муж, граф де Гильруа, депутат от департамента Эры, избрал своей специальностью вопросы сельского хозяйства.

Заметив в углу незнакомый эскиз, она прошла через мастерскую и спросила:

– Что это?

– Начатая мною пастель, портрет княгини де Понтев.

– Знаете, – серьезно сказала она, – если вы опять приметесь писать портреты женщин, я закрою вашу мастерскую. Мне слишком хорошо известно, к чему ведет такая работа.

– О, – сказал он, – дважды портрета Ани не напишешь.

– Надеюсь.

Она рассматривала начатую пастель как женщина, понимающая толк в искусстве. Отошла немного, затем приблизилась, приложив щитком руку к глазам, отыскивала место, откуда эскиз был всего лучше освещен, и, наконец, выразила свое удовлетворение:

– Очень хорошо. Пастель вам отлично удается.

Польщенный, он прошептал:

– Вы думаете?

– Да, это тонкое искусство, которое требует большого вкуса. Это не для маляров.

Уже двенадцать лет она поощряла в нем склонность к изысканному искусству, боролась с его возвратами к простой действительности и, высоко ценя светское изящество, мягко направляла его к идеалу несколько манерной и нарочитой красоты.

Она спросила:

– А какова собой эта княгиня?

Начав с замечаний о туалете, он перешел к оценке ума и сообщил множество подробностей, тех мелких подробностей, которые так смакует изощренное и ревнивое женское любопытство.

Она спросила вдруг:

– А не кокетничает она с вами?

Он рассмеялся и побожился, что нет.

Положив обе руки на плечи художника, она пристально посмотрела на него. В ее взгляде был такой жгучий вопрос, что зрачки дрожали в синеве ее глаз, испещренной еле заметными черными крапинками, похожими на чернильные брызги.

Она снова прошептала:

– Правда не кокетничает?

– Да нет же.

Она прибавила:

– Впрочем, меня это не беспокоит. Теперь уж вы никого, кроме меня, не полюбите. Никого... Конечно, слишком поздно, мой бедный друг.

Он почувствовал ту мимолетную щемящую боль, которая отдается в сердце пожилых людей, когда им напоминают об их возрасте, и тихо сказал:

– Ни сегодня, ни завтра – никогда в моей жизни не было и не будет никого, кроме вас, Ани.

Она взяла его под руку и, вернувшись к дивану, усадила рядом с собою.

– О чем вы думали?

– Искал сюжет для картины.

– В каком роде?

– Сам не знаю, вот и ищу.

– А что вы делали за последние дни?

Ему пришлось рассказать ей обо всех гостях, которые у него перебивали, об обедах и вечерах, разговорах и сплетнях. Впрочем, все эти суетные и обыденные мелочи светского быта одинаково занимали их обоих. Мелкое соперничество, гласные или подозреваемые связи, раз навсегда установившиеся суждения, тысячу раз высказанные и тысячу раз выслушанные по поводу все тех же лиц, тех же происшествий, тех же мнений, занимали их ум и втягивали их в течение мутной, бурливой реки, которую называют парижской жизнью. Зная всех, принятые повсюду, – он как художник, перед которым были раскрыты все двери, она как изящная женщина, жена депутата-консерватора, – они были искушены в этом спорте французской болтовни, тонкой, банальной, любезно-недоброжелательной, бесплодно-остроумной, вульгарно-изысканной болтовни, которая создает своеобразную и весьма завидную репутацию всякому, чей язык особенно изощрился в этом злоречивом пустословии.

– Когда вы придете к нам обедать? – спросила она вдруг.

– Когда хотите. Назначьте день.

– В пятницу. У меня соберутся герцогиня де Мортмэн, Корбели и Мюзадье; будем праздновать возвращение моей дочурки – она приезжает сегодня вечером. Но никому не говорите. Это секрет.

– О, конечно, я приду. Мне будет очень приятно снова увидеть Аннету. Я ведь не видел ее уже три года.

– Правда! Уже три года.

Аннета, которая воспитывалась сначала в Париже, у родителей, стала последней и страстной привязанностью своей полуслепой бабушки г-жи Параден, жившей круглый год в имении зятя, усадьбе Ронсьер, в департаменте Эры. Старушка с течением времени все дольше удерживала при себе ребенка, и так как супруги Гильруа почти полжизни проводили в этом поместье, куда их постоянно призывали всевозможные дела, хозяйственные или избирательные, то в конце концов они стали лишь изредка привозить девочку в Париж, да и сама она предпочитала свободную и привольную деревенскую жизнь городской жизни взаперти.

За последние три года она ни разу не приезжала в город: графиня предпочитала держать ее вдали – чтобы не пробудить в ней какой-нибудь неожиданной склонности, – пока не наступит день, назначенный для ее вступления в свет. Г-жа де Гильруа приставила к ней двух гувернанток с отличными аттестатами и стала чаще ездить к своей матери и дочке. К тому же пребывание Аннеты в поместье было почти необходимо ради старухи-бабушки.

Прежде Оливье Бертен каждое лето проводил полтора-два месяца в Ронсьере, но последние три года был вынужден лечить ревматизм на отдаленных курортах, и эти поездки до такой степени усиливали его любовь к Парижу, что, возвратившись, он не в силах был снова покинуть его.

Первоначально было решено, что девушка вернется лишь осенью, но у отца вдруг возник проект относительно ее замужества, и теперь он вызывал ее домой, чтобы немедленно познакомиться с маркизом де Фарандалем, которого наметил ей в женихи. Однако этот план держался в большой тайне: графиня доверила ее одному Бертену.

– Итак, ваш муж решил осуществить свою идею? – спросил он.

– Да, я даже думаю, что это очень счастливая идея.

И они заговорили о другом.

Она опять вернулась к живописи, ей хотелось уговорить его написать Христа. Он не соглашался, доказывая, что картин на эту тему и так уже достаточно, но она упрямо стояла на своем и горячилась:

– О, если бы я умела рисовать, я бы изобразила вам мой замысел: это будет очень ново, очень смело. Его снимают с креста; человек, который освободил руки Христа, не может удержать верхнюю часть его тела. Оно валится и падает прямо на толпу, а та протягивает руки, чтобы принять и поддержать его. Вы вполне понимаете меня?

Да, он понимал, он даже находил это оригинальным, но в настоящее время им владело влечение к современности, и, глядя на свою подругу, которая лежала на диване, свесив одну ногу, обутую в изящный башмачок и казавшуюся сквозь полупрозрачный чулок почти обнаженной, он воскликнул:

– Нет-нет, вот что надо писать, вот в чем жизнь: женская ножка, которая виднеется из-под платья. В это можно вложить все: правду, желание, поэзию. Ничего нет грациозней и красивей женской ножки, – а какая таинственность в том, что чуть повыше нога скрыта от взоров, ее лишь угадываешь под тканью платья!

Усевшись на полу по-турецки, он снял с нее башмачок, и ножка, выйдя из своего кожного футляра, зашевелилась, как беспокойный зверек, неожиданно выпущенный на свободу.

Бертен повторял:

– Как это тонко, как изысканно, и вместе с тем – как чувственно! Чувственнее руки. Дайте вашу руку, Ани!

На ней были длинные, до локтя, перчатки. Чтобы снять одну из них, она взяла ее за верхний край и быстро сдернула, выворачивая наизнанку, как сдирают кожу со змеи. Показалась рука, белая, полная, круглая, обнажившаяся так быстро, что невольно возникала мысль о наготы всего тела, дерзкой и неприкрытой.

Г-жа де Гильруа протянула руку, свесив кисть. На белых пальцах сверкали кольца, и длинные розовые ногти казались коготками, выпущенными этой маленькой женской лапкой в любовном упоении.

Оливье Бертен нежно поворачивал руку, любуясь ею. Он перебирал пальцы, как живые игрушки, и говорил:

– Какая это забавная штука – рука! Ужасно забавная! Какая она умная и искусная! Руками создано все на свете: книги, кружева, дома, пирамиды, локомотивы, пирожки; рука ласкает, и это – лучший из всех ее трудов.

Он снимал по одному ее кольца и, когда вслед за другими упало гладкое золотое обручальное кольцо, прошептал, улыбаясь:

– Закон. Преклонимся перед ним.

– Глупо! – сказала она, несколько задетая.

Он всегда отличался насмешливостью, этой чисто французской склонностью примешивать показную иронию к самым серьезным чувствам, и часто огорчал ее, сам того не желая, не умея разбираться в тонких женских чувствах и вторгаясь в границы ее святая святых. Особенно же сердилась она всякий раз, когда он с оттенком фамильярной шутки заводил речь об их связи, которая была так длительна, что он называл ее прекраснейшим примером любви девятнадцатого столетия. Помолчав, она спросила:

– Вы поведете нас с Аннетой на вернисаж?

– Конечно.

Тогда она стала расспрашивать его о лучших картинах предстоящей выставки: открытие ожидалось через две недели.

Но вдруг, вспомнив, должно быть, о том, что ей надо куда-то съездить, она сказала:

– Ну, давайте башмачок. Я ухажу.

Он задумчиво играл легким башмачком, рассеянно вертя его в руках.

Нагнувшись, он поцеловал ножку, казалось, парившую в воздухе, между ковром и платьем, уже не двигавшуюся и слегка похолодевшую, и надел на нее башмачок. Г-жа де Гильруа встала и подошла к столу: рядом с чернильницей, в которой, как водится у художников, давно уже высохли чернила, валялись бумаги и распечатанные письма, давние и только что полученные. Она с любопытством перебирала листки, приподнимая их, чтобы увидеть, что под ними.

– Вы расстроите мой беспорядок, – сказал он, подходя к ней.

Не отвечая, она спросила:

– Кто это хочет купить ваших «Купальщиц»?

– Какой-то американец; я его не знаю.

– А договорились насчет «Уличной певицы»?

– Да. Десять тысяч.

– Умно сделали. Это мило, но ничего особенного. Прощайте, дорогой.

Она подставила ему щеку, которой он коснулся спокойным поцелуем, и исчезла за портьерой, сказав вполголоса:

– В пятницу, в восемь. Я не хочу, чтобы вы меня провожали, вы ведь знаете. Прощайте.

Когда она ушла, он закурил папиросу, а потом принялся медленно шагать по мастерской. Все прошлое их связи разворачивалось перед ним. Он вспоминал давно минувшие подробности, восстанавливая их в памяти, связывая одну с другой, и увлекся в одиночестве этой погоней за воспоминаниями.

В ту пору он был восходящим светилом на горизонте художественного Парижа; художники тогда всецело завладели благорасположением публики и занимали великолепные особняки, которые доставались им ценою нескольких мазков кистью.

Возвратившись из Рима в 1864 году, Бертен не сразу добился успеха и известности; но в 1868 году он выставил свою «Клеопатру», и тотчас же публика и критика превознесли его до небес.

В 1872 году, после войны, после смерти Анри Реньо, послужившей всем его собратьям пьедесталом для славы, Бертен был отнесен к числу самых дерзновенных художников за рискованный сюжет своей «Иокасты», хотя его благоразумно-оригинальная манера исполнения была оценена даже академиками. В 1873 году первая медаль, присужденная ему за «Алжирскую еврейку», написанную по возвращении из поездки в Африку, поставила его «вне конкурса», а после портрета княгини де Салиа в 1874 году высший свет стал смотреть на него как на первоклассного современного портретиста. С этих пор он стал самым любимым живописцем парижан и парижанок, самым изобретательным и самым искусным истолкователем их изящества, манер, характера. Несколько месяцев спустя все более или менее видные парижские женщины уже добивались, как милости, чтобы он запечатлел их черты. Он выказал себя недоступным, и ему платили очень дорого.

Так как он был в моде и делал визиты просто в качестве светского человека, он встретил однажды у герцогини де Мортмэн молодую женщину в глубоком трауре; она прощалась, когда он входил, и, столкнувшись с нею в дверях, он был поражен ею, словно каким-то прекрасным видением, исполненным изящества и грации.

Он спросил, кто она, и узнал, что ее зовут графиней де Гильруа, что она жена захудалого нормандского дворянчика, агронома и депутата, что траур она носит по свекру, что она умна и пользуется в обществе поклонением и успехом.

Взволнованный этой встречей, пленившей его как художника, он воскликнул:

– Ах, вот с кого я охотно написал бы портрет!

На другой день эти слова были переданы молодой женщине, и в тот же вечер он получил голубое, чуть надушенное письмецо, в котором ровным и тонким почерком, немного взбегающим вверх, сообщалось:

«Милостивый государь,

герцогиня де Мортмэн, только что посетившая меня, уверяет, что вы желали бы изобразить мою скромную особу и создать из этого шедевр. Я охотно предоставила бы себя в ваше распоряжение, если бы знала наверное, что вы сказали это серьезно и действительно видите во мне нечто такое, что может быть вами воспроизведено и поднято до идеальной высоты.

Примите уверение в моем совершенном уважении. Анна де Гильруа».

Он послал ответ, спрашивая, когда сможет представиться графине, и был запросто приглашен на завтрак в ближайший понедельник.

Она жила на бульваре Мальзерб, на втором этаже большого роскошного дома новейшего стиля. Через обширную гостиную, обтянутую голубым шелком в белых с позолотой багетах, художника провели в будуар, отделанный во вкусе минувшего века, обитый светлыми, кокетливыми штофными обоями в стиле Ватто; их нежные тона и грациозные рисунки, казалось, были задуманы и исполнены мастерами, замечтавшимися о любви.

Не успел он сесть, как появилась графиня. Ее походка была так легка, что он не слышал, как она прошла через соседнюю комнату, и был удивлен, вдруг увидев ее. Она непринужденно протянула ему руку и сказала:

– Значит, это правда, что вам хотелось бы написать мой портрет?

– Я был бы очень счастлив, сударыня.

Узкое черное платье делало ее очень худощавой и придавало совсем юный и в то же время строгий вид, который противоречил ее улыбающемуся лицу, озаренному сиянием светлых волос. Вошел граф, держа за руку девочку лет шести.

Г-жа Гильруа представила его:

– Мой муж.

Это был человек небольшого роста, без усов, со впалыми щеками, гладко выбритыми и отливавшими синевою.

Он несколько походил на священника или на актера: длинные, зачесанные назад волосы, учтивые манеры и полукруглые, глубокие складки по обеим сторонам рта, от щек к подбородку, как бы образовавшиеся от привычки говорить публично.

Он поблагодарил живописца с многоречивостью, которая выдавала в нем оратора. Давно уже хотелось ему заказать портрет супруги, и, конечно, его выбор остановился бы на г-не Оливье Бертене, если бы он не боялся отказа: ведь ему известно, как осаждают художника подобными просьбами.

Обменявшись множеством взаимных любезностей, собеседники условились, что на другой день граф привезет жену в мастерскую художника. Впрочем, г-н де Гильруа спрашивал, не лучше ли отложить сеансы ввиду глубокого траура графини, но художник заявил, что ему хотелось бы передать первое свое впечатление и этот поразительный контраст между таким живым, таким тонким, сияющим под золотистыми волосами лицом и строгостью черного платья.

И вот на другой день она явилась вместе с мужем, а в следующие дни приходила с дочкой, которую усаживали за стол, заваленный книжками с картинками.

Оливье Бертен, по своему обыкновению, выказывал большую сдержанность. Светские женщины немного смущали его, потому что он их совсем не знал. Он считал их плутовками и в то же время дурочками, лицемерными и опасными, легкомысленными и докучливыми. У него бывали мимолетные приключения с женщинами полусвета, которых привлекали его известность, остроумие, прекрасная фигура атлета и энергичное смуглое лицо. Этих женщин он даже предпочитал, он любил их развязное обращение и свободные разговоры, так как привык к легким, забавным и веселым нравам мастерских и кулис, где был завсегдатаем. В свете он бывал ради славы, а не по влечению сердца, он тешил там свое честолюбие, получал комплименты и заказы, блистал перед льстившими ему прекрасными дамами, но никогда не ухаживал за ними. Не позволяя себе в их обществе ни смелых шуток, ни двусмысленностей, так как считал их ханжами, он прослыл за человека хорошего тона. Всякий раз, когда какая-нибудь дама приезжала к нему позировать, он, несмотря на всю предупредительность, которую она выказывала, чтобы понравиться ему, чувствовал то неравенство породы, которое не позволяет смешивать художника со светскими людьми, хотя бы они и общались между собою. За улыбками, за восхищением, всегда немного неискренним у женщин, он угадывал скрытую внутреннюю сдержанность существа, причисляющего себя к высшему разряду. Самолюбие его возмущалось, он усвоил чрезвычайно учтивые, почти надменные манеры и, наряду с затаенным тщеславием выскочки, которого признают за равного себе принцы и принцессы, проявлял гордость человека, обязанного своему уму тем положением, которое другие занимают в силу происхождения. О нем говорили, слегка удивляясь: «Он чрезвычайно благовоспитан». Это удивление, с одной стороны, льстившее ему, в то же время коробило его, так как указывало на какие-то границы.

Нарочитая и церемонная важность художника несколько смущала г-жу де Гильруа: она не могла придумать, о чем бы заговорить с этим человеком, таким холодным и слывшим умницей.

Усадив дочку, она тоже садилась в кресло, рядом с начатым эскизом, и старалась, по просьбе художника, придать своему лицу то или иное выражение.

В середине четвертого сеанса он вдруг бросил рисовать и спросил:

– Что вас больше всего занимает в жизни?

Она пришла в недоумение:

– Право, не знаю! Почему вы спрашиваете?

– Мне нужно, чтобы в ваших глазах было выражение счастья, а я этого еще не видел.

– В таком случае постарайтесь, чтобы я разговорилась, я очень люблю поболтать.

– Вы веселая?

– Очень.

– Так давайте болтать, сударыня.

Это «давайте болтать, сударыня» он произнес самым серьезным тоном и, опять принявшись за работу, коснулся некоторых вопросов, стараясь найти какую-нибудь точку соприкосновения. Начали они с обмена наблюдениями над общими знакомыми, а затем заговорили о себе, что всегда составляет наиболее приятную и наиболее привлекательную тему для беседы.

Встретившись на следующий день, они почувствовали себя свободнее, и Бертен, видя, что он ей нравится и ей с ним не скучно, стал рассказывать кое-какие подробности из своей жизни художника и, с присущей ему склонностью фантазировать, дал волю своим воспоминаниям.

Привыкнув к надуманному остроумию салонных литераторов, она была поражена его бьющей через край живостью, откровенными и ироническими высказываниями и тотчас стала отвечать в том же тоне, очень мило, тонко и смело.

В одну неделю она пленила и покорила его своей жизнерадостностью, искренностью, простотой. Он совсем отказался от предубеждения против светских женщин и готов был утверждать, что только они одни обладают привлекательностью и обаянием. Стоя перед полотном и усердно работая, он то приближался к нему, то отступал, как бы сражаясь с кем-то, и продолжал высказывать свои любимые мысли, словно давно уже знал эту красивую светловолосую женщину в черном, как будто созданную из солнца и траура, которая сидела перед ним, смеялась, слушая его, и отвечала так весело, с таким оживлением, что поминутно теряла свою позу.

Порою он отходил от нее и, зажмурив один глаз, наклонялся, чтобы схватить всю совокупность черт своей модели, порою подходил к ней совсем близко, чтобы подметить малейшие оттенки ее лица, мимолетное выражение, чтобы уловить и передать все, что таится в женском лице за видимой внешностью, – то излучение идеальной красоты, тот отблеск чего-то неведомого, то интимное и опасное, каждой женщине присущее очарование, которое внушает безумную любовь к ней именно этому, а не другому мужчине.

Однажды девочка с величайшей детской серьезностью остановилась перед полотном и спросила:

– Ведь это мама?

Он взял ее на руки и расцеловал, польщенный этою наивной похвалой сходству его картины с натурой.

В другой раз, когда она, казалось, сидела вполне спокойно, послышался вдруг ее печальный голосок:

– Мама, мне скучно.

Художника так растрогала эта первая жалоба, что на другой день, по его заказу, в мастерскую принесли массу игрушек.

Маленькая Аннета, удивленная, довольная и по-прежнему задумчивая, заботливо расставила игрушки, а затем стала брать одну за другой, какую хотелось. За этот подарок она полюбила художника, как любят дети, и стала относиться к нему с той инстинктивной и ласковой дружбой, которая делает их такими милыми и пленительными.

Г-же де Гильруа стали нравиться сеансы. По случаю траура она была лишена этой зимой светских развлечений, не знала, чем заняться, и теперь весь интерес ее жизни сосредоточился в мастерской художника.

Ее отец, очень богатый и гостеприимный парижский коммерсант, давно умер, а так как всегда хворавшая мать почти половину года проводила в постели, г-жа де Гильруа еще с детских лет стала настоящей хозяйкой дома; она умела принимать гостей, улыбаться, вести беседу, разбираться в людях, понимала, как с кем говорить, быстро приспособлялась к обстоятельствам, была гибка и предусмотрительна. Когда граф де Гильруа был ей представлен в качестве

жениха, она тотчас же сообразила, какие выгоды принесет ей это замужество, и дала согласие без малейшего принуждения, как рассудительная девушка, прекрасно знающая, что нельзя иметь все и что в любом положении приходится взвешивать хорошие и дурные стороны.

Она была красива и умна и, вступив в свет, завладела всеобщим вниманием; у нее появилось множество поклонников, но она ни разу не утратила своего сердечного спокойствия: ее сердце было столь же рассудительно, как и ум. Однако она была кокетка, но ее задорное и осмотровое кокетство никогда не заходило слишком далеко. Она любила слушать комплименты, ей было приятно возбуждать желания, лишь бы только можно было делать вид, что не замечаешь их; и, пробыв целый вечер в какой-нибудь гостиной, где ей курили фимиам, она затем отлично спала, как женщина, выполнившая свое земное назначение. Такая жизнь, длившаяся вот уже семь лет, не утомляла ее, не казалась однообразной; ей нравилась эта нескончаемая светская суэта, но тем не менее иногда она желала чего-то другого. Мужчины ее круга, адвокаты, политики, финансисты или праздные завсегдатаи клубов, забавляли ее, как актеры, и она относилась к ним не особенно серьезно, хотя питала уважение к их деятельности, служебному положению и титулам. Художник понравился ей прежде всего тем, что было в нем для нее нового. Ей было весело в его мастерской, она смеялась от всей души, чувствовала себя остроумной и была благодарна ему за то удовольствие, какое доставляли ей эти сеансы. Ее привлекало, что он был красив, мужествен и знаменит: ведь ни одна женщина, что бы ни говорили, не может оставаться равнодушной к физической красоте и славе. Польщенная вниманием такого мастера и готовая, со своей стороны, ставить его очень высоко, она открыла в нем живую восприимчивость, деликатность, фантазию, поистине обаятельный ум и красочную речь, словно освещавшую все, что он высказывал.

Между ними быстро возникла близость, и рукопожатие, которым они обменивались при встрече, с каждым днем становилось все более и более сердечным.

Это не было ни расчетом, ни обдуманном намерением, она просто почувствовала, как в ней растет естественное желание прельстить его, и она уступила этому желанию. Она ничего не предвидела, не строила никаких планов: она была лишь кокетлива, проявляла несколько больше внимания, – как инстинктивно ведут себя женщины по отношению к мужчине, который нравится им больше других, – и в ее обращении с ним, во взгляде, улыбке сквозил тот манящий соблазн, который исходит от женщины, почувствовавшей, что в ней пробуждается потребность быть любимой.

Она высказывала ему много лестного, что означало: «Я нахожу вас очень красивым, сударь», – и заставляла его говорить подолгу, чтобы, слушая с вниманием, показать ему, какой интерес он ей внушает. Он переставал писать, садился подле нее, испытывая тот умственный подъем, который вызывается опьяняющим желанием нравиться, и им овладевало поэтическое настроение, или на него находили приступы дурашливости или философского раздумья, каждый день по-иному.

Она радовалась, когда ему было весело, а когда он углублялся в размышления, она старалась следить за развитием его мысли, хотя это ей не всегда удавалось; но если она и задумывалась о чем-нибудь другом, то делала вид, будто слушает его, будто так хорошо понимает и так наслаждается его откровениями, что он приходил в восторг от ее внимания, взволнованный, что нашел душу утонченную, открытую и послушную, в которую мысль западала, как зерно.

Портрет подвигался вперед и обещал быть очень удачным, так как художник обрел душевное состояние, необходимое, чтобы выявить все качества модели и выразить их с той страстной убежденностью, которая и составляет вдохновение истинного мастера.

Наклонившись к ней, он пристально следил за игрой ее лица, вглядывался в оттенки ее кожи, в блеск и выражение ее глаз, в каждую неуловимую черточку, он пропитывался ею, как губка, взбухающая от воды; когда же он переносил на полотно сияние ее чарующей прелести,

которое вбирал его взгляд, переливавшееся, как волна в его кисть, чувствовал себя ошеломленным, опьяненным ее пленительной женственностью.

Она сознавала, что он влюбляется в нее, забавлялась этой игрой, своей все более очевидной победой и сама увлекалась ею.

Что-то новое придавало ее жизни новый привкус, будило в ней таинственную радость. Когда при ней заходила речь об Оливье, ее сердце билось слегка учащенное, и она испытывала желание сказать – одно из тех желаний, которые никогда не доходят до уст: «Он влюблен в меня». Она бывала довольна, когда превозносили его талант, и, пожалуй, еще более довольна, когда его находили красивым. А думая о нем наедине, без докучных гостей, она и в самом деле воображала, что обрела в нем доброго друга, который всегда будет довольствоваться только сердечным рукопожатием.

Часто, среди сеанса, он вдруг откладывал палитру, брал на руки малютку Аннету и нежно целовал ее глаза или волосы, глядя на мать, словно говоря: «Не ребенка, а вас я так целую».

Иногда г-жа де Гильруа приходила одна, без девочки. В такие дни работа совсем не ладилась, и время проходило в разговорах.

Однажды графиня опоздала. Погода стояла холодная: был конец февраля. Оливье вернулся домой заблаговременно, как он делал теперь каждый раз, когда г-жа де Гильруа должна была прийти, ибо постоянно надеялся, что она явится несколько раньше. Ожидая ее, он расхаживал взад и вперед по комнате, курил, удивлялся тому, что в сотый раз в течение недели задает себе все тот же вопрос: «Неужели я влюблен?» Он не мог решить этого, потому что никогда еще не был влюблен по-настоящему. У него бывали сильные, даже довольно длительные увлечения, но он не считал их любовью. И теперь его удивляло то, что он чувствовал.

Любил ли он ее? Он не желал ее страстно, он даже не думал о возможности обладать ею. Прежде, когда какая-нибудь женщина нравилась ему, вождление тотчас овладевало им, и он уже протягивал к ней руки, словно для того чтобы сорвать плод, – но была ли она с ним или отсутствовала, это никогда не затрагивало глубоко его затаенных дум.

Между тем страсть к этой женщине еле коснулась его и как будто мгновенно спряталась, притаилась за другим чувством, более сильным, но еще смутным, едва пробудившимся. Прежде Оливье думал, что любовь начинается мечтаниями, поэтическими восторгами. То, что он испытывал теперь, происходило, казалось ему, от какого-то неопределенного ощущения, скорее физического, чем морального. Он стал нервным, беспокойным, как человек, у которого начинается какая-то болезнь. Но к лихорадочному брожению крови, которое заражало своим волнением и его мозг, не примешивалось, однако, ничего болезненного. Он не мог не сознавать, что причина этой тревоги заключалась в г-же де Гильруа, в воспоминании о ней, в ожидании ее прихода. Он не чувствовал, что рвется к ней в порыве всего существа, но постоянно ощущал ее присутствие в себе, словно она не покидала его: она оставляла в нем частицу самой себя, нечто неуловимое и неизъяснимое. Что же? Не любовь ли? Чтобы увидеть и понять это, он обращался теперь к собственному сердцу. Он находил ее очаровательной, но она не отвечала тому типу идеальной женщины, который когда-то создала его слепая надежда. Всякий, кто призывает любовь, заранее уже предугадывает, как одарена духовно и физически женщина, которая его обольстит, но г-жа де Гильруа хотя и нравилась ему бесконечно, казалось, не была этой женщиной.

Однако почему же он беспрестанно думал о ней, гораздо больше, чем о других женщинах, и совсем по-иному?

Не попался ли он просто-напросто в сети ее кокетства, которое уже давно почувствовал и понял; обманутый ее уловками, не подпал ли он под то особое очарование, какое свойственно женщинам, желающим понравиться?

Он ходил, садился, опять принимался ходить, закуривал папиросу, тотчас же бросал ее и поминутно смотрел на стрелку стенных часов, медлительно и невозмутимо приближавшуюся к обычному часу.

Не раз уже порывался он приподнять ногтем выпуклое стекло, прикрывавшее движущиеся золотые стрелки, и подтолкнуть большую стрелку к цифре, к которой она ползла так лениво.

Ему казалось, что этого будет достаточно, чтобы дверь отворилась и появилась та, которую он ждал, обманутая и привлеченная этой хитростью. Но это упрямое и нелепое детское желание вызвало у него улыбку.

Наконец он задал себе вопрос: «Могу ли я стать ее любовником?» Эта мысль показалась ему странной, почти неосуществимой, да и вовсе неисполнимой из-за тех осложнений, какие это могло внести в его жизнь.

Однако эта женщина ему очень нравилась, и он пришел к выводу: «Право, я очутился в дурацком положении».

Часы пробили назначенное время, и он вздрогнул, услышав их бой, который потряс его нервы больше, чем душу. Он ждал г-жу Гильруа с тем нетерпением, которое возрастает с каждой секундой опоздания. Она всегда была аккуратна; стало быть, не пройдет и десяти минут, как он увидит ее на пороге. Когда же эти десять минут прошли, он встревожился, словно от предчувствия какого-то горя, затем рассердился на то, что теряет время, а потом вдруг понял, что будет жестоко страдать, если она не придет. Что делать? Он будет ждать ее! Или нет, он уйдет, чтобы она не застала никого в мастерской, если все же явится с большим опозданием.

Он уйдет, но когда? Надолго ли оставлять ее одну? Не лучше ли не уходить и в учтивых, холодных словах дать ей понять, что он не из тех, кого заставляют дожидаться? А что, если она не может прийти? Но тогда он получил бы телеграмму, записку с лакеем или посыльным. Если же она так и не придет, что делать? День пропал, работать он уже не сможет. И что же тогда?.. Тогда он пойдет узнать, что с ней, потому что видеть ее было ему необходимо.

Это была правда: он чувствовал необходимость видеть ее, глубокую, гнетущую, мучительную. Что же это такое? Любовь? Но он не испытывал ни возбуждения мысли, ни взволнованности чувств, ни мечтательности в душе, когда удостоверился, что будет жестоко страдать, если она сегодня не придет.

На лестнице особняка раздался звонок с улицы; Бертен почувствовал, что у него захватило дыхание. Он так обрадовался, что сделал пируэт, подбросив кверху папиросу.

Она вошла; она была одна.

Он сразу ощутил прилив смелости.

– Знаете ли, о чем я спрашивал себя, ожидая вас?

– Нет, не знаю.

– Я спрашивал себя, не влюблен ли я в вас.

– Влюблены в меня! Да вы с ума сходите!

Но она улыбалась, и улыбка говорила: «Это мило, я очень довольна».

Она продолжала:

– Ну, вы это не серьезно. Зачем вы так шутите?

Он ответил:

– Напротив, я вполне серьезен. Я не утверждаю, что влюблен, но спрашиваю себя: не на пути ли я к тому, чтобы в вас влюбиться?

– Что внушает вам такую мысль?

– Волнение, которое я испытываю, когда вас здесь нет, и чувство счастья, когда вы приходите.

Она села.

– О, не волнуйтесь из-за таких пустяков. Пока вы будете крепко спать и с аппетитом обедать, до тех пор это не опасно.

Он рассмеялся.

– А если я потеряю сон и аппетит?

– Дайте мне знать.

– И тогда?

– Я вас оставлю в покое, чтобы вы поправились.

– Премного благодарен.

Они острили на эту тему весь сеанс. В следующие дни было то же самое. Относясь к этому как к остроумной и не имеющей значения шутке, она, здороваясь с ним, каждый раз весело спрашивала:

– Как поживает сегодня ваша любовь?

И полушутя-полусерьезно он подробно рассказывал ей об усилении этой болезни, о непрерывной, глубокой внутренней работе возникшего и растущего чувства. Он обстоятельно анализировал свои переживания, час за часом после того, как они расстались накануне, пародируя профессора, читающего лекцию, а она внимательно слушала его, слегка взволнованная и смущенная, – это было похоже на повесть, героиней которой была она сама. Когда он с любезным и непринужденным видом перечислял ей терзавшие его горести, его голос по временам дрожал, выражая одним только словом или даже одной интонацией все, что он выстрадал в душе.

А она не переставала спрашивать его, трепеща от любопытства, не сводя с него глаз, жадно внимая этому рассказу, который и волновал ее, и пленял.

Иногда, подходя к ней, чтобы исправить позу, он брал ее руку и пытался поцеловать. Она быстрым движением отдергивала пальцы от его губ, слегка хмурила брови и говорила:

– Довольно, работайте.

Он снова брался за кисть, но не проходило и пяти минут, как она задавала ему какой-нибудь вопрос, чтобы ловко навести его опять на единственную занимавшую их тему.

Теперь она начинала чувствовать опасения. Ей очень хотелось быть любимой, но не слишком сильно. Уверенная, что сама не увлечена, она боялась, что он пойдет слишком далеко и она потеряет его: ведь ей придется отнять у него надежду, после того как она сама, видимо, поощряла его. Однако, если бы ей пришлось отказаться от этой нежной, игривой дружбы, от этой болтовни, которая текла, неся с собою крупинки любви, как ручей золотоносный песок, ей было бы очень грустно, грустно и тоскливо до боли.

Выходя из дому, чтобы отправиться в мастерскую художника, она чувствовала, что ее переполняет живая, жгучая радость, ей было легко и весело. Когда у дверей дома Оливье рука ее притрагивалась к звонку, сердце ее билось от ожидания, а ковер на лестнице казался самым мягким, по какому ступали когда-нибудь ее ноги.

Но Бертен становился мрачным, нервничал, нередко бывал раздражителен.

У него прорывалось нетерпение, он тотчас подавлял его, но это повторялось все чаще и чаще.

Однажды, как только она вошла, он сел рядом с нею, вместо того чтобы взяться за работу, и сказал:

– Сударыня, теперь вы, конечно, должны знать, что это не шутка и что я безумно люблю вас.

Смущенная этим вступлением и видя, что кризис, который ее пугал, приближается, она попыталась остановить Бертена, но он уже не слушал ее. Сердце его было переполнено – и она, бледная, дрожащая, испуганная, должна была его выслушать. Он говорил долго, ничего не требуя, нежно, печально, с каким-то безнадежным смирением, и она позволила ему взять и удержать ее руки в своих. Он опустился на колени, прежде чем она могла остановить его,

и, глядя на нее глазами галлюцинирующего человека, молил ее не причинять ему страдания! Какого страдания? Она не понимала, да и не старалась понять, оцепенев от жестокого горя при виде его мучений, но это горе было почти счастьем. Вдруг она увидела слезы в его глазах, и это так растрогало ее, что у нее вырвалось: «О!» – и она готова была поцеловать его, как целуют плачущих детей. Он тихо повторял: «Послушайте, послушайте, я слишком страдаю», – и вдруг ее захватило его страдание, его слезы передались ей, и она разрыдалась, не владея собой, чувствуя, что ее трепещущие руки готовы протянуться ему навстречу.

Когда она очутилась в его объятиях и он страстно целовал ее в губы, она хотела закричать, бороться, оттолкнуть его, но тут же поняла, что погибла, потому что сопротивляясь – уступала, защищаясь – отдавалась и восклицая: «Нет-нет, не хочу!» – обнимала его.

И она замерла, потрясенная, закрыв лицо руками, а потом вдруг вскочила, подняла шляпу, упавшую на ковер, надела ее и выбежала, несмотря на мольбы Оливье, удерживавшего ее за платье.

Едва она очутилась на улице, ей захотелось сесть прямо на тротуар, до того она была разбита, до того у нее подкашивались ноги. Мимо проезжал фиакр; она подозвала его и сказала кучеру:

– Поезжайте потише, везите меня, куда хотите.

Бросившись в карету, она захлопнула дверцу и забилась поглубже, чтобы за поднятыми стеклами экипажа, в полном одиночестве отдаться своим мыслям.

Сначала она ничего не воспринимала, кроме стука колес и толчков на тряской мостовой. Пустыми, невидящими глазами смотрела она на дома, на пешеходов, на фиакры с седоками, на омнибусы и совсем ни о чем не думала, словно желая передохнуть, дать себе отсрочку, пока не соберется с духом поразмыслить над тем, что произошло.

Однако ум у нее был живой, отнюдь не трусливый, и она сказала себе: «Вот я и погибшая женщина». И несколько минут она оставалась под властью этого ощущения, в уверенности, что произошло непоправимое несчастье, в ужасе, как человек, который упал с крыши и еще не шевелится, догадываясь, что у него переломаны ноги, и боясь удостовериться в этом.

Но вместо того чтобы почувствовать отчаяние от муки, которую она ждала и которой страшилась, ее сердце, пройдя сквозь катастрофу, оставалось спокойным и безмятежным: медленно, тихо билось оно после этого падения, лежавшего бременем на ее душе, и, казалось, не принимало участия в смятении ее духа.

Громко, словно желая сама себя услышать и убедить, она повторила:

– Вот я и погибшая женщина.

Но никаким страдальческим откликом не отозвалось ее тело на эту жалобу совести.

На некоторое время она отдалась убаюкивающему покачиванию кареты, не желая пока думать о создавшемся мучительном положении. Нет, она не страдала. Она боялась думать, вот и все, боялась осознавать, понимать, рассуждать; напротив, в непроницаемых глубинах того таинственного бытия, которое возникает в нас под влиянием непрестанной борьбы наших склонностей и нашей воли, она ощущала, казалось ей, удивительное спокойствие.

Около получаса длилось это состояние странной безмятежности; поняв наконец, что желанное отчаяние не наступит, она стряхнула с себя оцепенение и прошептала:

– Удивительно, я почти не огорчена.

Тогда она стала упрекать себя. В ней поднимался гнев против собственного ослепления и слабости. Как она раньше этого не предвидела? Как не поняла, что час борьбы должен наступить, и этот человек нравится ей настолько, что может довести ее до позорного поступка, и что дуновение страсти в самом честном сердце иногда подобно порыву ветра, сметающему волю?

Осыпав себя этими жестокими и презрительными упреками, она с ужасом подумала, что же будет дальше.

Сначала она решила порвать с художником и никогда больше с ним не видеться.

Но не успела она прийти к этой мысли, как тотчас же нашла множество возражений.

Чем объяснит она этот разрыв? Что скажет мужу? Разве не станут шушукаться, догадываясь о правде, разве потом не разнесут это повсюду?

Не лучше ли будет, для соблюдения приличий, разыграть перед самим Бертенем лицемерную комедию равнодушия и забвения, показать ему, что она вычеркнула эту минуту из своей памяти и жизни?

Но хватит ли у нее на это сил? Хватит ли у нее смелости сделать вид, будто она ничего не помнит, и сказать: «Что вам от меня угодно?» – глядя с негодующим удивлением на мужчину, внезапный и грубый порыв которого она, в сущности говоря, разделила?

Она долго размышляла и все же остановилась на этом решении, так как всякое другое казалось ей невозможным.

Завтра она смело пойдет к нему и сразу же даст ему понять, чего она хочет и требует от него. Пусть ни одно слово, ни намек, ни взгляд никогда не напоминают ей об этом позоре.

Это причинит страдание и ему, но, как человек честный и благовоспитанный, он, конечно, согласится с нею и впредь будет для нее тем же, чем был до сих пор.

Придя к этому новому решению, она дала кучеру свой адрес и возвратилась домой разбитая, с единственным желанием лечь в постель, никого не видеть, уснуть, забыться. Запершись у себя, она до обеда пролежала в оцепенении, не желая больше обдумывать эту мысль, чреватую опасностями.

В обычное время она сошла вниз, сама удивляясь тому, что так спокойна и ждет мужа, не меняясь в лице. Он вошел, неся на руках дочку; она пожала ему руку и поцеловала ребенка без малейшего волнения.

Г-н де Гильруа спросил, что она делала. Она равнодушно ответила, что позировала, как все эти дни.

– И что же, портрет хорош? – осведомился он.

– Должен быть очень удачным.

Граф, любивший за обедом говорить о своих делах, стал рассказывать о заседании палаты и прениях по поводу проекта закона о фальсификации предметов питания.

Эта болтовня, которую она обыкновенно переносила легко, привела ее в раздражение, и она стала внимательно вглядываться в этого вульгарного фразера, который интересовался подобными вещами; но слушала она с улыбкой, отвечала любезно, даже любезнее обычного, и с большей снисходительностью относилась к его банальностям. Глядя на него, она думала: «Я обманула его. Он мой муж, а я его обманула. Не странно ли это? Ничто уже не может помешать этому, ничто не может это зачеркнуть. Я закрыла глаза. На несколько секунд, всего на несколько секунд, я отдалась поцелуям чужого мужчины, и вот я перестала быть честной женщиной. Несколько секунд в моей жизни, несколько невозвратных секунд, привели меня к этому мгновенному, но непоправимому событию, такому важному и такому мимолетному, к самому постыдному для женщины преступлению... а я совсем не испытываю отчаяния. Если бы мне это сказали вчера, я не поверила бы. Если бы меня стали в этом настойчиво уверять, я тотчас подумала бы об ужасных угрызениях совести, которые будут меня терзать сегодня. А у меня их нет, почти нет».

После обеда г-н Гильруа, как обычно, уехал из дому.

Тогда она взяла дочурку на колени и, целуя ее, заплакала; она плакала искренними слезами, слезами совести, но это не были слезы сердца.

Всю ночь она не сомкнула глаз.

Ночью, в темноте спальни, она терзалась еще сильнее, представляя себе, какими опасностями может грозить ей поведение художника; ей стало страшно при мысли о завтрашней встрече и о том, что придется говорить с ним с глазу на глаз.

Поднявшись рано, она все утро пролежала в шезлонге и, пытаясь предугадать, чего ей остерегаться, как отвечать, старалась приготовиться ко всевозможным неожиданностям.

Из дому вышла она рано, чтобы еще поразмыслить по дороге.

Он никак не ждал ее, а со вчерашнего дня только и спрашивал себя, как ему теперь быть с нею.

После ее ухода, после этого бегства, которому он не посмел воспротивиться, он остался один, и долго еще в его ушах отдавались шум ее шагов, шелест платья и стук стремительно захлопнутой двери.

Он стоял, охваченный пылкой, глубокой, кипучей радостью. Он взял ее! Она принадлежала ему! Неужели это правда? После первой неожиданности победы он теперь наслаждался ею и, чтобы насладиться вполне, сел, почти лег на диван, на котором овладел графиней.

Он долго пробыл так, весь поглощенный мыслью о том, что она его любовница, что между ними, между ним и этой женщиной, которую он так желал, в несколько мгновений завязалась таинственная связь, незримо соединяющая два существа. Во всем своем еще трепещущем теле он хранил острое воспоминание о том быстром миге, когда их губы встретились, тела соединились, сплелись и содрогнулись великим содроганием жизни.

Чтобы вдосталь насытиться этой мыслью, он в этот вечер не выходил из дому и лег рано, весь трепеща от счастья.

Наутро, едва проснувшись, он задал себе вопрос: «Что я теперь должен делать?» Какой-нибудь кокотке или актрисе он послал бы цветы, даже драгоценность, но перед этим новым для него положением мучился в нерешительности.

Разумеется, ему надо было написать... но что?.. Он набросал писем двадцать, перечеркивал их, разрывал – начинал писать снова, но все они казались ему оскорбительными, мерзкими, смешными.

Ему хотелось в утонченных, пленительных словах излить всю благодарность своей души, порывы безумной нежности, обеты безграничной преданности, но для передачи этих страстных чувств со всеми их оттенками он не находил ничего, кроме избитых фраз и банальных, грубых, беспомощных выражений.

Тогда он оставил намерение написать и решил пойти к ней, как только минет время сеанса, – он был уверен, что она не придет.

Запершись в мастерской, он замер в восторге перед портретом; его губы горели, ему хотелось целовать полотно, на котором было запечатлено нечто от нее, и он поминутно подходил к окну и смотрел на улицу. Как только вдали показывалось женское платье, сердце его начинало учащенно биться. Двадцать раз казалось ему, что это она, а когда женщина проходила мимо, он присаживался на минуту, подавленный грустью, словно кем-то обманутый.

И вдруг он увидел ее; он не поверил своим глазам, схватил бинокль, убедился, что это она, и, весь охваченный бурным волнением, сел в ожидании.

Когда она вошла, он бросился на колени, хотел взять ее руки, но она быстро отдернула их; он остался у ее ног, с глубокой тоской глядя на нее, а она надменно проговорила:

– Что вы делаете, сударь? Я не понимаю такого поведения.

Он пробормотал:

– О сударыня, умоляю вас...

Она резко перебила:

– Встаньте, вы смешны.

Он встал, ошеломленный, шепча:

– Что с вами? Не обращайтесь так со мною, я вас люблю!..

Тогда она в нескольких быстрых и сухих словах объявила ему свою волю:

– Не понимаю, что вы хотите сказать. Не говорите мне о вашей любви, или я уйду из этой мастерской и никогда не вернусь. Если вы хоть раз забудете, что я нахожусь здесь только при этом условии, вы меня больше не увидите.

Он смотрел на нее в отчаянии от этой жестокости, которую не предвидел; потом он понял и тихо сказал:

– Я повинуюсь, сударыня.

Она ответила:

– Превосходно, я этого и ждала от вас. Теперь за работу; вы слишком затянули окончание портрета.

Он взял палитру и стал писать, но рука его дрожала, отуманенные глаза ничего не видели, ему хотелось плакать, так тяжело у него было на сердце.

Он попробовал заговорить с нею, она едва отвечала. Когда он попытался сказать какую-то любезность по поводу цвета ее лица, она оборвала его таким резким тоном, что он вдруг ощутил прилив того гнева, какой у влюбленных превращает любовь в ненависть. Всею душою и телом он испытал сильное нервное потрясение и тотчас же, без перехода, почувствовал, что она стала ему отвратительна. Да, да, вот они, женщины! Она такая же, как и другие, такая же! А почему бы и нет? Она лжива, изменчива и малодушна, как все женщины. Она увлекла его, соблазнила уловками продажной девки, стараясь вскружить ему голову и ничего потом не дать, подстрекая его, чтобы затем оттолкнуть, применяя к нему все приемы подлых кокеток, всегда, кажется, готовых раздеться, пока мужчина, ставший из-за них похожим на уличного пса, не начнет задыхаться от страсти.

В конце концов, тем хуже для нее: он обладал ею, он взял ее. Она может сколько угодно вытирать себе тело губкой и дерзко отвечать ему; ей ничего не стереть, а он ее забудет. Вот еще была бы нелепая история, если бы он связался с такой любовницей, которая капризными зубками хорошенькой женщины изгрызла бы его жизнь, посвященную искусству!

Ему хотелось засвистать, как он делал в присутствии натурщиц, но, чувствуя растущее раздражение и опасаясь выкинуть какую-нибудь глупость, он сократил сеанс, сославшись на свидание. Прощаясь, они, несомненно, чувствовали себя гораздо более далекими друг другу, чем в день их первой встречи у герцогини де Мортмэн.

Как только она удалилась, он взял шляпу, пальто и вышел из дому. С голубого, словно ватую обложенного неба холодное солнце бросало на город бледный свет, обманчивый и печальный.

Несколько времени он шел быстрой, нервной походкой, толкая прохожих, и его страшная злоба против нее понемногу перешла в горечь и сожаление. Повторив про себя все упреки по ее адресу, он вспомнил, глядя на других женщин, проходивших по улице, как она красива и соблазнительна. Подобно многим мужчинам, которые в этом не признаются, он всегда ждал невозможной встречи, редкой, единственной, поэтической и страстной привязанности, мечта о которой витает над нашим сердцем. Разве он не был близок к тому, чтобы найти это? Разве она не была той женщиной, которая могла бы дать ему это почти невозможное счастье? Почему же ничего не сбывается? Почему так и не поймашь то, за чем гонишься, и тебе удастся ухватить только жалкие крохи, и отчего эта погоня за разочарованиями причиняет еще больше страданий?

Уже не на графиню сердился он, а на самую жизнь. Теперь, по зрелом размышлении, за что стал бы он сердиться на г-жу де Гильруа? В сущности, в чем он мог упрекнуть ее – в том, что она была с ним любезна, добра и ласкова? А вот она могла бы упрекнуть его: ведь он вел себя как негодяй!

Глубоко опечаленный, вернулся он домой. Ему хотелось просить у нее прощения, посвятить ей свою жизнь, заставить ее забыть о случившемся, и он старался что-нибудь придумать, чтобы дать ей понять, что отныне он до гроба будет покорен всем ее желаниям.

На другой день она пришла в сопровождении дочери; она явилась с такой печальной улыбкой, такая грустная, что в этих бедных синих глазах, до сих пор столь веселых, художнику почудились все муки, все угрызения совести, все отчаяние этого женского сердца. Охваченный жалостью, стремясь заставить ее забыть все, он стал относиться к ней с самой деликатной сдержанностью, с самой тонкой предупредительностью. Она отвечала на это кротко и ласково, с усталым и разбитым видом страдающей женщины.

И он, глядя на нее и снова охваченный безумным желанием любить ее и быть любимым, спрашивал себя, как может она не сердиться, как могла снова прийти к нему, слушать его, отвечать; ведь между ними вставало такое воспоминание...

Но если она в силах снова видаться с ним, слышать его голос, если мирится в его присутствии с единственной мыслью, которая, несомненно, в душе не покидает ее, значит, эта мысль не кажется ей невыносимой и ненавистной. Когда женщина ненавидит мужчину, который насильно овладел ею, она не может, очутившись перед ним, не почувствовать к нему прилива ненависти. И оставаться равнодушной к этому человеку она тоже не может. Она непременно либо ненавидит его, либо прощает. А от прощения недалеко и до любви.

Медленно водя кистью, он размышлял и подбирал мелкие, точные, ясные, убедительные доводы; он чувствовал себя прозревшим, сильным и отныне господином положения.

Ему следовало только быть осторожным, терпеливым, преданным, и не сегодня завтра она опять будет принадлежать ему.

Он умел ждать. Чтобы успокоить и снова покорить ее, он, в свою очередь, пустился на хитрости, скрывал нежные чувства под наружным раскаянием, был робко внимателен к ней, принимал равнодушный вид. Раз он был уверен в том, что счастье близко, не все ли равно, наступит оно днем раньше или позже! Он даже испытывал своего рода странное и утонченное удовольствие в том, чтобы не спешить, чтобы подстергать ее и думать: «Она боится», – видя, что она приходит каждый раз с ребенком.

Он чувствовал, что между ними медленно происходит сближение, что во взоре графини появляется что-то странное, напряженное, страдальчески-кроткое, тот призыв борющейся души, ослабевающей воли, который словно говорит: «Так бери же меня силой!»

Спустя некоторое время, успокоенная его сдержанностью, она опять стала приходиться одна. Тогда он начал обращаться с нею, как друг, как товарищ, и рассказывал ей, словно брату, о своей жизни, планах, о своем искусстве.

Эта простота обращения пленяла ее, и она охотно взяла на себя роль советчицы; ей льстило, что он выделил ее из ряда других женщин, и она была убеждена, что его талант выигрывает в изяществе от такой духовной близости. И то, что он с ней советовался и выказывал ей крайнее уважение, естественно внушило ей стремление, не довольствуясь ролью советчицы, утвердиться в священном призвании вдохновительницы. Ее пленяла мысль оказывать таким образом влияние на великого человека, и она почти уже согласилась с тем, чтобы он любил ее как художник, раз она вдохновляет его творчество.

Однажды вечером, после долгого разговора о любовницах знаменитых живописцев, она как-то незаметно очутилась в его объятиях. На этот раз она уже не пыталась вырваться и возвращала ему поцелуи.

Теперь она уже испытывала не угрызения совести, но лишь смутное ощущение падения и, чтобы избавиться от упреков рассудка, поверила, что такова воля рока. Она тянулась к Оливье девственным сердцем и пустующей душой, и постепенно власть его любовных ласк покорила ее тело, и мало-помалу она привязалась к нему, как привязываются нежные женщины, полюбившие в первый раз.

А он переживал острый приступ любви, чувственной и поэтической. Иногда ему казалось, что он взлетел на небо и, протянув руки, заключил в объятия великолепную и крылатую мечту, вечно реющую над нашими надеждами.

Он закончил портрет графини, бесспорно, лучший из всех написанных им, ибо сумел увидеть и запечатлеть то невыразимое, что почти никогда не удастся раскрыть художнику: отблеск, тайну, тот образ души, который почти неуловим в лице.

Прошли месяцы, затем годы, но они почти не ослабили уз, связывавших графиню де Гильруа с живописцем Оливье Бертенем. В нем уже не было первоначальной пылкости, ее сменило спокойное, глубокое чувство, своего рода любовная дружба, которая стала для него привычкой.

В ней же, наоборот, непрестанно росла страстная, упрямая привязанность, какая бывает у некоторых женщин, отдающих себя одному мужчине всецело и навсегда. Такие же честные и прямые в прелюбодеянии, какими они могли бы быть в супружестве, эти женщины посвящают себя единственной любви, от которой ничто их не отвратит. Они не только любят своего любовника, но хотят любить его, не видят никого, кроме него, и настолько полны мыслями о нем, что ничто постороннее не может войти в их сердце. Они связывают свою жизнь так же решительно, как связывает себе руки, готовясь броситься с моста в воду, умеющий плавать человек, который решил утонуть.

Однако, с того момента, как графиня отдала себя всю Оливье Бертену, она стала сомневаться в его постоянстве. Ничто ведь не удерживало его, кроме мужской воли, каприза, мимолетного влечения к женщине, которую он встретил случайно, как встречал уже столько других! Она чувствовала, что он, не имея никаких обязательств, привычек, предрассудков, как все мужчины, был так мало связан и так легко доступен искушению! Он хорош собою, знаменит, всюду его дарили вниманием; его быстро загорающемуся желанию доступны все светские женщины, целомудрие которых так хрупко, и все женщины полусвета или кулис, охотно расточающие свои милости таким людям, как он. В один прекрасный вечер, после ужина, какая-нибудь из них может последовать за ним, понравиться ему, овладеть им, удержать при себе.

Поэтому г-жа де Гильруа жила в постоянном страхе потерять его, внимательно следила за его поступками и настроениями, волнуясь от одного слова, испытывая тревогу, как только он начинал восхищаться какой-нибудь другой женщиной, восхвалять прелесть чьего-нибудь лица или изящество фигуры. Все, что было ей неизвестно о его жизни, заставляло ее трепетать, а все, что она знала, приводило в ужас. При каждой их встрече она осторожно и ловко задавала ему разные вопросы, стараясь узнать, что он думает о людях, с которыми встречался, о домах, где обедал, выведать самые ничтожные его впечатления. Лишь только она подозревала чье-либо влияние, она с изумительной изворотливостью стремилась побороть его, прибегая для этого к бесчисленным уловкам.

О, как часто она уже заранее предчувствовала те легкие, мимолетные интрижки, какие время от времени завязываются и длятся неделю-другую в жизни каждого видного художника!

Она бессознательно чуяла опасность прежде, чем ее предупреждало о пробуждающемся в нем новом желании то праздничное выражение, какое появляется в глазах и в лице мужчины, возбужденного мыслью о галантном приключении.

Это заставляло ее страдать, и сон ее часто прерывался тоскливыми думами. Чтобы застигнуть художника врасплох, она неожиданно приходила к нему, роняла наивные на первый взгляд вопросы, выстукивала его сердце, выслушивала его мысль, как выстукивают и выслушивают больного, чтобы определить скрытую болезнь.

А как только она оставалась одна, она принималась плакать, уверяя себя, что уж на этот раз его отнимут у нее, похитят эту любовь, за которую она держалась так цепко, потому что вложила в нее по желанию сердца всю силу своей привязанности, все надежды и все свои мечты.

Зато, когда после такого кратковременного побега, он снова возвращался к ней, когда она снова забирала его обратно, снова завладевала им, как потерянной и найденной вещью, она испытывала такое глубокое безмолвное счастье, что порой, проходя мимо церкви, бросалась туда воздать благодарение Богу.

Постоянная забота о том, чтобы нравиться Оливье больше всех других женщин и убе-речь его от них, превратила ее жизнь в непрерывную борьбу: она беспрестанно боролась за него своей грацией, красотой, изяществом, кокетством. Она хотела, чтобы всюду, где бы он ни услышал о ней, превозносили ее обаяние, вкус, ум и наряды. Ради него она хотела нравиться другим и сводить их с ума, чтобы он гордился ею и ревновал. И всякий раз, угадывая его рев-ность, заставив его немного помучиться, она затем доставляла ему торжество, которое, воз-буждая его тщеславие, оживляло в нем любовь.

Понимая также, что мужчина всегда может встретить в обществе такую женщину, физи-ческое очарование которой будет сильнее в силу новизны, она прибегала к другим средствам: льстила ему и баловала его.

Постоянно и незаметно она расточала ему похвалы, убаюкивала лестью, окружала покло-нением, чтобы всюду в другом месте дружба и даже нежность казались ему несколько холод-ными и недостаточно полными, чтобы он заметил в конце концов, что если другие его и любят, то ни одна женщина не понимает его так, как она.

Свой дом, обе свои гостиные, где он появлялся очень часто, она превратила в такой уголок, куда его одинаково влекло честолюбие художника и сердце мужчины, в такой уголок Парижа, где он бывал особенно охотно, потому что здесь он мог удовлетворить все свои вожде-ления сразу.

Она не только изучила его привычки, чтобы, угождая ему у себя в доме, создать у него чувство ничем не заменимого довольства, но сумела пробудить в нем и новые вкусы, внушить влечение к всевозможным утехам материальным или духовным, привычки к мелким знакам внимания, к преданности, к обожанию, к лести! Она всячески старалась усладить его зрение изяществом, обоняние – ароматами, слух – комплиментами, вкус – лакомыми блюдами.

Но когда она вложила в душу и тело этого эгоистичного и избалованного холостяка мно-жество мелких тиранических потребностей и когда вполне уверилась, что никакая любовница не станет так заботливо, как она, ухаживать за ним, угождать ему, чтобы опутать его всевоз-можными маленькими житейскими удовольствиями, – она вдруг испугалась, увидя, что ему опротивел его собственный дом, что он вечно жалуется на одинокую жизнь и, не имея возмож-ности бывать у нее иначе, как с соблюдением всех требуемых обществом ограничений, пыта-ется разогнать тоску одиночества то в клубе, то в разных других местах; она испугалась, как бы он не вздумал жениться.

Бывали дни, когда она так страдала от всех этих тревог, что начинала мечтать о старости, чтобы покончить с этой мукой и найти успокоение в охладевшей и спокойной привязанности.

Годы шли, но не разъединяли их. Скованная ею цепь была прочна, и, по мере того как звенья изнашивались, она восстанавливала их. Но, вечно озабоченная, она следила за сердцем художника, как следят за ребенком, который переходит запруженную экипажами улицу, и еще до сих пор она каждый день со страхом ждала какого-нибудь неведомого несчастья, угроза которого всегда висит над нами.

Граф, не питая ни подозрений, ни ревности, находил естественной эту близость жены с знаменитым художником, которого всюду принимали с большим почетом. Часто встречаясь, они с художником привыкли один к другому и кончили тем, что полюбили друг друга.

II

Когда Бертен явился в пятницу к своей подруге на обед по случаю возвращения Аннеты де Гильруа, он не нашел в маленькой гостиной в стиле Людовика XV никого, кроме только что приехавшего г-на де Мюзадье.

Это был умный старик, который мог, по-видимому, стать в свое время человеком выдающимся и теперь был неутешен, что это не сбылось.

Бывший хранитель Императорских музеев, он и при Республике сумел добиться должности инспектора изящных искусств, что не мешало ему прежде всего быть другом принцев, всех принцев, принцесс и герцогинь европейской аристократии и присяжным покровителем всевозможных талантов. Обладая живым умом, умением все предусмотреть, даром слова, позволявшим ему с приятностью говорить самые избитые вещи, гибкой мыслью, благодаря которой он прекрасно чувствовал себя во всяком обществе, и тонким чутьем дипломата, помогавшим ему судить о людях с первого взгляда, он целые дни, с утра до вечера неумолимо расточал в гостинных свое просвещенное и бесполезное красноречие.

Мастер на все руки, он говорил обо всем с внушительным видом знатока и простотой популяризатора, за что его весьма ценили светские дамы, для которых он служил ходячей энциклопедией. Он действительно знал много, хотя никогда ничего не читал, кроме самых необходимых книг; но он был в лучших отношениях со всеми пятью академиями, с учеными, писателями, специалистами во всех областях знания и внимательно к ним прислушивался. Он умел немедленно забывать слишком технические или бесполезные для его знакомых сведения, но отлично запоминал другие, которые излагал так общепонятно, ясно и занимательно, что они легко воспринимались как поучительные анекдоты. Он напоминал собою склад идей, один из тех огромных магазинов, где никогда не найдешь редкую вещь, но где зато имеется богатый запас всякой дешевки самого разнообразного назначения и происхождения, от кухонной утвари и до простейших приборов занимательной физики и домашней хирургии.

Художники, с которыми он постоянно имел дело по службе, трунили над ним и побаивались его. Он, впрочем, оказывал им всяческие услуги, помогал сбывать картины, устраивал им светские связи, любил знакомить, выводить их в люди, покровительствовать им; казалось, он посвятил себя таинству взаимного сближения светских людей и художников, гордился тем, что интимно знаком с одними и запросто вхож к другим, что в один и тот же день завтракал с принцем Уэльским во время его пребывания в Париже и обедал с Полем Адельмансом, Оливье Бертенем и Амори Мальданом.

Бертен питал к нему симпатию, но подсмеивался над ним и говорил:

– Это занимательная энциклопедия в духе Жюль Верна, но переплет из ослиной кожи.

Пожав друг другу руки, они завели разговор о политике, о слухах насчет войны. По мнению Мюзадье, эти слухи вызвали явную тревогу, причины которой он изложил весьма обстоятельно: Германии нужно во что бы то ни стало раздавить Францию и ускорить этот момент, которого г-н Бисмарк выжидает уже восемнадцать лет. А Оливье Бертен неопровержимыми доводами доказывал, что эти опасения призрачны, так как Германия не настолько безумна, чтобы скомпрометировать свою победу сомнительной авантюрой, а канцлер не настолько опрометчив, чтобы в последние дни своей жизни разом поставить на карту все созданное им и свою славу.

Однако г-н де Мюзадье, по-видимому, знал что-то, чего не хотел сказать. К тому же он виделся сегодня днем с одним министром и беседовал с великим князем Владимиром, возвратившимся накануне из Канн.

Художник стоял на своем и со спокойной иронией оспаривал компетентность наиболее осведомленных людей. Под шумок всех этих слухов готовятся биржевые спекуляции! И определенное мнение на этот счет имеется, пожалуй, только у г-на Бисмарка.

Вошел г-н де Гильруа, с предупредительностью пожал им руки, извиняясь в слащавых выражениях, что оставил их одних.

– А вы, дорогой депутат, – спросил живописец, – что вы думаете по поводу слухов о войне?

Г-н де Гильруа тут же начал целую речь. В качестве члена палаты он знает об этом больше, чем кто бы то ни было, но не разделяет мнения большинства своих коллег. Нет, он не верит в возможность столкновения в близком будущем, если только оно не будет вызвано французской шумливостью и бахвальством так называемых патриотов Лиги. И он набросал в общих чертах портрет г-на Бисмарка, портрет в духе Сен-Симона. Этого человека не хотят понять: люди всегда приписывают другим собственный образ мыслей и считают их готовыми поступить так, как поступили бы они сами на их месте. Г-н Бисмарк не какой-нибудь бесчестный и лживый дипломат: наоборот, он откровенен, груб, всегда говорит правду во всеуслышание, всегда прямо объявляет о своих намерениях. «Я хочу мира», – сказал он. И это правда, он хочет мира, только мира, и вот уже восемнадцать лет самым явным образом дает доказательство этому решительно во всем, вплоть до его вооружений, вплоть до его союзов, вплоть до этого объединения народов против французского задора. И г-н Гильруа закончил тоном глубокого убеждения:

– Это большой, очень большой человек, который хочет спокойствия, но верит только в угрозы и в насильственные средства для его достижения. В общем, господа, он великий варвар.

– Цель оправдывает средства, – вставил г-н де Мюзадье. – Охотно соглашусь с вами, что он обожает мир, если вы, в свою очередь, согласитесь со мною, что для достижения его он все время стремится вызвать войну. Впрочем, это неоспоримая и феноменальная истина: война на этом свете всегда затевается только ради мира!

Слуга доложил:

– Герцогиня де Мортмэн.

Дверь отворилась настежь; высокая полная женщина с властным видом вошла в комнату. Гильруа бросился к ней, поцеловал руку и спросил:

– Как поживаете, герцогиня?

Оба гостя поклонились с некоторой почтительной фамильярностью; герцогиня относилась к людям с грубоватой сердечностью.

Вдова генерала, герцога де Мортмэна, дочь маркиза де Фарандаль и мать единственной дочери, бывшей замужем за князем Салиа, происходя из знатного рода и царственно богатая, она принимала в своем особняке на улице Варенн знаменитостей всего мира, которые встречались у нее и обменивались любезностями. Ни одна высочайшая особа не могла проследовать через Париж, не пообедав за ее столом, и, как только кто-нибудь начинал входить в моду, герцогиня сейчас же изъявляла желание познакомиться с этим человеком. Ей необходимо было увидеть его, заставить разговориться, создать себе о нем представление. Все это чрезвычайно занимало ее, оживляло ее жизнь, питало горевшее в ней пламя надменного и благожелательного любопытства.

Едва она уселась, как тот же слуга доложил:

– Барон и баронесса де Корбель.

Вошла молодая пара; барон лысый и толстый, баронесса – хрупкая, элегантная, жгучая брюнетка.

Эта супружеская чета занимала среди французской аристократии особое положение, которым обязана была единственно тщательному выбору своих знакомств. Происходя из мелкого дворянства, не отличаясь ни умом, ни достоинствами, руководствуясь во всех своих

поступках неумеренным пристрастием к тому, что признается фешенебельным, безукоризненным и изысканным, посещая только самые знатные дома, выказывая роялистские чувства, набожность и крайнюю корректность, уважая все, что полагается уважать, презирая все, что полагается презирать, никогда не ошибаясь ни в одном пункте светских догм, никогда не отступая ни от одной детали этикета, – они добились того, что в глазах многих прослыли сливками *high lif*¹. Их мнения составляли в некотором роде кодекс хорошего тона, а их присутствие в чьем-нибудь доме служило ему бесспорным патентом на почтенность.

Корбели были в родстве с графом де Гильруа.

– А где же ваша жена? – с удивлением спросила герцогиня.

– Минуту, одну минуту, – попросил граф. – Готовится сюрприз, она сейчас придет.

Когда г-жа де Гильруа, спустя месяц после замужества, вступила в свет, она была представлена герцогине де Мортмэн, которая сразу полюбила ее, приблизила к себе и стала ей покровительствовать.

Двадцать лет оставалась неизменной эта дружба, и, когда герцогиня говорила «моя малютка», в ее голосе еще слышалось волнение внезапно возникшей и непреходящей влюбленности. У нее-то и произошла первая встреча графини с художником.

Мюзадье спросил:

– Были вы, герцогиня, на выставке Неумеренных?

– Нет, а что это такое?

– Группа новых художников, импрессионистов, в состоянии опьянения. Там есть двое очень сильных.

Знатная дама презрительно бросила:

– Не нравятся мне шутки этих господ.

Властная, резкая, не допускающая никаких других мнений, кроме собственного, а это собственное основывая только на сознании своего общественного положения, она, не отдавая себе в том отчета, смотрела на художников и ученых как на интеллигентных наемников, которым самим Богом предназначено развлекать светских людей или оказывать им услуги; во всех своих суждениях об искусстве она исходила лишь от той или иной степени удивления и ничем не объяснимого удовольствия, которое доставлял ей вид какой-нибудь вещи, чтение книги или рассказ о каком-нибудь открытии.

Высокая, толстая, тяжеловесная, краснолицая, с громким голосом, она прослыла важной дамой, так как ничто ее не смущало, она осмеливалась говорить все и оказывала покровительство не только всем низложенным государям, устраивая в их честь приемы, но и Всевышнему, щедро одаря духовенство и жертвуя на церкви.

Мюзадье продолжал:

– Известно ли вам, герцогиня, что, по слухам, убийца Мари Ламбур арестован?

Она сразу заинтересовалась:

– Нет, не знаю, расскажите.

И он стал рассказывать со всеми подробностями. Высокий, тощий, в белом жилете, сверкающая алмазными запонками манишка, он говорил без жестов, с тем корректным видом, который позволял ему высказывать весьма рискованные вещи, на что он был большой мастер. Он был очень близорук и носил пенсне, но, казалось, никого никогда не видел, а когда садился, можно было подумать, что весь его костяк изгибается по форме кресла. Его торс в согнутом положении становился совсем маленьким и весь оседал, словно позвоночник был резиновый; заложженные одна на другую ноги походили на две перекрученные ленты, а бледные руки с длинными-предлинными пальцами свисали по обе стороны кресла. Его усы и волосы, артистически

¹ Великосветское общество (англ.).

выкрашенные, с умышленно оставленными седыми прядями, служили предметом постоянных шуток.

В то время, когда он рассказывал герцогине, что убийца, обдуманно совершивший преступление, подарил драгоценности, принадлежавшие убитой девке, другой особе легких нравов, дверь гостиной снова распахнулась, и две женщины в белых, легких, как пена, кружевных платьях, обе блондинки, похожие друг на друга как две сестры, хотя и разного возраста, одна зрелая, другая юная, одна полная, другая худенькая, вошли, улыбаясь, обняв друг друга за талию.

Раздались возгласы, аплодисменты. Никто, кроме Оливье Бертена, не знал о возвращении Аннеты Гильруа, и, когда девушка появилась рядом с матерью, которая издали казалась почти такую же свежую и даже более красивой, потому что, как вполне распустившийся цветок, все еще была ослепительна, а дочь, едва раскрывшийся бутон, только начинала становиться хорошенькой, – все нашли их обеих очаровательными.

Герцогиня, восторженно хлопая в ладоши, воскликнула:

– Боже! Как они восхитительны и забавны рядом друг с другом. Посмотрите, господин де Мюзадье, до чего они похожи!

Стали сравнивать, и сейчас же образовались два мнения. Мюзадье, Корбели и граф де Гильруа находили, что графиня и ее дочь схожи между собою только цветом лица, волосами и особенно глазами, совершенно одинаковыми у обеих, одинаково испещренными черными крапинками, напоминающими крошечные брызги чернил, упавшие на синий ирис. Но очень скоро, когда молодая девушка станет женщиной, сходство между ними почти совсем исчезнет.

Но, по мнению герцогини и Оливье Бертена, мать и дочь, напротив, во всем были похожи друг на друга – разница только в возрасте.

Художник сказал:

– Как она изменилась за эти три года! Я бы не узнал ее, я не посмею теперь говорить ей «ты».

Графиня рассмеялась:

– Ну вот еще! Посмотрела бы я, как вы станете говорить Аннете «вы».

Молодая девушка, в застенчивом лукавстве которой уже проглядывала будущая самоуверенность, сказала:

– Это я не посмею теперь говорить «ты» господину Бертену.

Мать улыбнулась:

– Можешь сохранить эту дурную привычку, я позволяю. Вы скоро возобновите знакомство.

Но Аннета покачала головой:

– Нет-нет, мне неловко.

Герцогиня расцеловала ее и оглядывала с любопытством знатока.

– Ну, малютка, посмотри на меня. Да, у тебя совершенно такой же взгляд, как у матери; еще немного, и, когда ты приобретешь лоск, ты будешь недурна. Тебе надо пополнеть, не очень, а немножко. Ты худышка.

Графиня воскликнула:

– О, не говорите ей этого!

– А почему?

– Так приятно быть худенькой. Я непременно хочу похудеть.

Но г-жа де Мортмэн рассердилась, забывая в пылу гнева о присутствии девочки:

– Вечная история! У вас все еще не выходят из моды кости, потому что их легче одевать, чем мясо. Вот я из поколения толстых женщин! А теперь пошло поколение тощих. Это напоминает мне египетских коров. Решительно не понимаю мужчин: они притворяются, что в восторге от ваших костяков. В наше время им требовалось кое-что получше.

Она замолчала, вызвав общую улыбку, а затем продолжала:

– Взгляни на свою маму, малютка: она очень хороша, как раз в меру. Бери пример с нее.

Перешли в столовую. Когда сели за стол, Мюзадье возобновил спор:

– А я скажу, что худощавы должны быть мужчины. Они созданы для упражнений, требующих ловкости и подвижности, несовместимых с брюшком. Что касается женщин, это – другое дело. Как по-вашему, Корбель?

Корбель находился в замешательстве, потому что герцогиня была толста, а его собственная жена слишком тонка. Но баронесса пришла на выручку мужу и решительно высказалась в пользу стройности. Год тому назад ей пришлось бороться с начинавшейся полнотой, и она скоро с ней справилась.

Г-жа де Гильеуа спросила:

– Скажите, как вы этого добились?

Баронесса стала объяснять систему, которую применяют теперь все элегантные женщины. Во время еды ничего не пить. Лишь через час после обеда можно чашку очень горячего, обжигающего чая. Это помогает всем. Она привела несколько удивительных примеров того, как толстые женщины в течение трех месяцев становились тоньше лезвия ножа. Герцогиня в отчаянии воскликнула:

– Боже! Как глупо так себя мучить! Вы просто ничего не любите, ровно ничего, даже шампанского. Бертен, вы художник, что вы об этом думаете?

– Боже мой, сударыня, я – живописец, я могу задрапировать натуру, мне все равно! Вот на месте скульптора я стал бы жаловаться.

– Но вы мужчина. Что вы предпочитаете?

– Я... я... слегка упитанную, но изящную женщину, то, что моя кухарка называет славеньким, откормленным цыпленочком. Чтобы он был нежирный, мясистый и нежный.

Сравнение вызвало смех, но графиня недоверчиво посмотрела на дочь и тихо проговорила:

– Нет, быть худощавой очень приятно: худые женщины не так стареют.

Этот пункт тоже вызвал спор и разделил общество на два лагеря. Впрочем, в одном сошлись почти все: очень полным не следует худеть слишком быстро.

Это наблюдение дало повод произвести смотр знакомым светским женщинам и еще раз высказаться об их грации, их шике и красоте. Мюзадье находил бесподобно очаровательной белокурую маркизу де Локрист, тогда как Бертен выше всех ставил брюнетку г-жу Мандельер, с низким лбом, темными глазами, довольно крупным ртом и ослепительными зубами.

Он сидел возле молодой девушки и вдруг, повернувшись к ней, сказал:

– Слушай хорошенько, Нанетта. Все, что мы сейчас говорим, ты будешь выслушивать по меньшей мере раз в неделю до самой твоей старости. Дней через десять ты будешь знать наизусть все, что думают в свете о политике, о женщинах, о театральных пьесах и обо всем прочем. Тебе придется только время от времени менять имена людей или заглавия произведений. Когда мы все изложим перед тобою и защитим наши мнения, ты, выслушав нас, спокойно выберешь для себя то, которого будешь придерживаться, и затем тебе уже не надо будет ни о чем думать; останется только отдыхать.

Девушка молча подняла на него лукавый взгляд, в котором светился живой, юный ум, пока еще не самостоятельный, но готовый сбросить все путы.

Однако герцогиня и Мюзадье, которые перебрасывались мыслями, как мячами, не замечая, что эти мысли – все одни и те же, запротестовали во имя человеческой деятельности и разума.

Тогда Бертен стал доказывать, до чего ничтожен, бессодержателен и мелок ум светских людей, даже наиболее образованных, как безразличны они к явлениям духа, до чего необоснованны их взгляды, неустойчивы и сомнительны их вкусы.

Он был охвачен тем полуискренним-полупритворным негодованием, которое бывает вызвано сначала желанием блеснуть красноречием, но затем внезапно выливается в ясное суждение, обычно прикрытое благодушием. Художник стал доказывать, что люди, занятые в жизни исключительно визитами и зваными обедами, неодолимою силою рока превращаются в беспечных и милых, но банальных существ, которых не волнуют ни тяжелые заботы, ни убеждения, ни большие желания.

Он доказывал, что в этих людях нет ни глубины, ни огня, ни искренности, что их духовная культура ничтожна, а ученость – просто внешний лоск, что, в общем, это манекены, выдающие себя за избранных людей или копирующие их жесты. Он доказывал, что чахлые корни их инстинктов вросли в почву условностей, а не в действительность, и потому они ничего не любят по-настоящему, что роскошь, которой они себя окружают, служит лишь удовлетворению тщеславия, а вовсе не утолению их утонченных потребностей, так как едят они плохо и вина пьют скверные, хотя платят за них очень дорого.

– Они живут, – говорил он, – рядом со всем, что есть в мире, но ничего не видят, ни во что не вникают: рядом с наукой, которой они не знают, рядом с природой, на которую не умеют смотреть, рядом со счастьем, ибо сами-то они не в силах страстно наслаждаться чем бы то ни было; они не замечают красоты мира или красоты искусства, о которой толкуют, и даже не верят в нее, потому что им неведомо упоение радостями бытия и духовной деятельностью. Они неспособны полюбить что-либо настолько, чтобы эта любовь заполнила все их существование, неспособны заинтересоваться чем-нибудь в такой степени, чтобы их озарила радость понимания.

Барон де Корбель счел своей обязанностью выступить на защиту хорошего общества.

Он приводил те несостоятельные, но неопровержимые доводы, которые тают перед здравым смыслом, как снег от огня, и которых никак не уловишь – нелепые, но торжествующие доводы деревенского кюре, доказывающего существование Бога. В заключение он сравнил светских людей с беговыми лошадьми, которые, в сущности говоря, не приносят пользы, но зато поддерживают славу лошадиной породы.

Бертен, чувствуя себя неудобно перед таким противником, хранил презрительно-учтивое молчание. Но вдруг глупость барона вывела его из себя, и, ловко прервав речь собеседника, он стал подробно рассказывать, как проводит день – от утреннего вставания до отхода ко сну – благовоспитанный, светский человек.

Метко схваченные черточки обрисовали невыразимо комичный образ. Все как бы воочию видели перед собою этого господина: в то время как камердинер одевает его, он высказывает некоторые общие идеи парикмахеру, явившемуся побрить его; затем, собираясь на утреннюю прогулку, он спрашивает конюхов о здоровье лошадей; потом проезжает рысцой по аллеям Булонского леса единственно для того, чтобы раскланиваться со знакомыми; завтракает в обществе супруги, которая, в свою очередь, выезжала сегодня в карете, и весь их разговор состоит из перечня встреченных утром лиц; затем посещает до вечера гостиные, чтобы освежить ум общением с себе подобными, обедает у какого-нибудь князя, где обсуждается европейская политика, и заканчивает вечер в танцевальном фойе Оперы, где его робкие попытки стать прожигателем жизни невинно удовлетворены одним лишь внешним видом неприличного места.

Портрет был необычайно точен, но ирония его никого не задевала. Все за столом смеялись.

Толстая герцогиня вся тряслась от еле сдерживаемого желания расхохотаться, и грудь ее слегка вздрагивала. Наконец она сказала:

– Нет, право, это ужасно смешно, вы меня уморите.

Бертен, все еще возбужденный, тотчас же подал реплику:

– О сударыня! В свете не умирают со смеху. Там смеются еле-еле. Из любезности и как того требует хороший тон, делают вид, что веселятся, и притворяются, будто смеются. Гримасу смеха воспроизводят довольно удачно, но это не настоящий смех. Пойдите в народный театр – и вы увидите, как люди смеются. Пойдите к простым обывателям, когда они веселятся, – и вы увидите, как люди покатываются со смеху. Пойдите в солдатские казармы – и вы увидите, как люди, задыхаясь, хохочут до слез и корчатся на койках, глядя на проделки какого-нибудь штукாரя. Но в наших гостиных не смеются. В них, повторяю вам, все фальшиво, даже смех.

Мюзадье перебил его:

– Позвольте, вы слишком строги! Ведь вы сами, дорогой мой, как мне кажется, не пренебрегаете этим высшим светом, который так хорошо высмеиваете.

Бертен улыбнулся:

– Да, я его люблю.

– Как же так?

– Я отчасти презираю себя как существо сомнительной породы.

– Все это только рисовка, – сказала герцогиня.

И когда он стал уверять, что не рисуется, она закончила спор заявлением, что все художники любят делать из мухи слона.

Затем завязался общий разговор, банальный и спокойный, дружеский и сдержанный, касающийся всего понемногу, и, так как обед подходил к концу, графиня, указывая вдруг на стоявшие перед ней нетронутые бокалы, воскликнула:

– Ну вот, я ничего не пила, ничего, ни капли! Посмотрим, похудею ли я.

Герцогиня, рассердившись, хотела заставить ее выпить глоток-другой минеральной воды, но все было тщетно, и она воскликнула:

– Ах, глупенькая! Теперь из-за дочери у нее голова кругом пойдет. Пожалуйста, Гильруа, запретите вашей жене безумствовать.

Граф, объяснявший в это время Мюзадье устройство изобретенной в Америке механической молотилки, не расслышал.

– О каком безумии вы говорите, герцогиня?

– О ее сумасбродном желании похудеть.

Он бросил на жену благосклонно-равнодушный взгляд:

– Я ведь не привык стеснять ее свободу.

Графиня поднялась из-за стола и взяла под руку своего соседа, граф предложил руку герцогине, и все перешли в большую гостиную, так как будуар был предназначен для дневных приемов.

Это была просторная и очень светлая комната. Ее стены в красивых широких панно бледно-голубого шелка, расшитых старинными узорами и окаймленных белыми с золотом багетами, отливали при свете ламп и люстры нежным и ярким лунным сиянием. Портрет графини, работы Оливье Бертена, висевший здесь, казалось, наполнял комнату своей жизнью. Он был тут у себя дома, и самый воздух гостиной был напоен улыбкою молодой женщины, прелестью ее взгляда, очарованием ее белокурых волос. И у всех стало почти привычкой, своего рода светским обрядом, – подобно тому как крестятся при входе в церковь, – каждый раз останавливаться перед портретом и осыпать комплиментами его оригинал.

Мюзадье никогда не упускал этого случая. Его мнение как знатока, облеченного доверием государства, было равносильно официальной экспертизе, и он считал своим долгом неизменно и с глубоким убеждением подтверждать высокое достоинство этой живописи.

– Вот, – сказал он, – поистине лучший из всех современных портретов, какие я знаю. Он полон какой-то чудесной жизни.

Граф де Гильруа, постоянно выслушивавший похвалы этому полотну и давно уже уверенный, что обладает шедевром, подошел поближе, чтобы подогреть восторг Мюзадье, и минуты

две они наперебой повторяли всевозможные общеизвестные и технические термины для прославления видимых и скрытых достоинств этой картины.

Все глаза, обращенные на стену, казалось, сияли восторгом, и Оливье Бертен, привыкший к этим похвалам и обращавший на них так же мало внимания, как на вопрос о здоровье при случайной уличной встрече, тем не менее поправил помещенную перед портретом и освещавшую его лампу с рефлектором, которую слуга по небрежности поставил немного криво.

Затем все расселись. Граф подошел к герцогине, и она сказала:

– Вероятно, мой племянник заедет за мною и выпьет у вас чаю.

С некоторых пор у них появились общие желания, которые они взаимно угадывали, хотя еще не обмолвились о них даже намеком.

Брат герцогини де Мортмэн, маркиз де Фарандаль, почти совершенно разоренный игрою, умер после падения с лошади, оставив вдову и сына. Этот молодой человек, которому теперь было двадцать восемь лет, считался одним из самых модных дирижеров котильона в Европе, его приглашали даже иногда в Вену и в Лондон, чтобы украсить придворные балы несколькими турами вальса; не имея почти никаких средств, он, благодаря своему положению, имени и родственным связям чуть не с королевскими домами, являлся одним из тех избранных парижан, знакомства с которыми больше всего добиваются и которым больше всего завидуют.

Эту еще слишком юную славу, добытую на поприще танцев и спорта, необходимо было укрепить и – после богатой, очень богатой женитьбы – сменить светские успехи на политические. Стоит только маркизу пройти в депутаты, и он тем самым делается одним из столпов будущего престола, одним из советников короля и одним из главарей партии.

Герцогиня, располагавшая точными сведениями, знала об огромном состоянии графа де Гильруа, расчетливого скопидома, занимавшего обыкновенную наемную квартиру, тогда как он мог бы жить на широкую ногу в одном из прекраснейших парижских особняков. Она знала об его неизменно удачных спекуляциях, об его тонком нюхе в финансовых делах, об его участии в самых доходных предприятиях, пущенных в ход за последнее десятилетие, и ей пришла мысль женить своего племянника на дочери нормандского депутата, которому этот брак мог бы дать преобладающее влияние в аристократическом обществе, окружающем принцев. Гильруа, взявший за женою большое приданое и ловко умноживший собственное прекрасное состояние, лелеял теперь новые честолюбивые планы.

Он верил в возвращение короля, и ему хотелось в надлежащий момент использовать это событие как можно лучше.

Как простой депутат, он не имел большого веса. Но в качестве тестя маркиза де Фарандаля, предки которого были верными и любимейшими приближенными французского королевского дома, он выдвигался в первые ряды.

Сверх того, дружба герцогини с его женою придавала этому союзу характер интимной близости, что также было очень важно, и, боясь, что маркиз может встретить другую девушку, которая ему вдруг понравится, граф выписал свою дочь, чтобы ускорить ход событий.

Г-жа де Мортмэн, предугадывая его планы, безмолвно им содействовала, и в этот день, хотя ее и не уведомили о внезапном возвращении девушки, она посоветовала племяннику заехать к супругам Гильруа, чтобы затем постепенно приучить его бывать в этом доме почаще.

В первый раз граф и герцогиня заговорили намеками о своих желаниях, и, когда они расставались, договор о союзе между ними уже был заключен.

На другом конце гостиной раздавался смех. Г-н де Мюзадье рассказывал баронессе де Корбель о приеме президентом республики какого-то негритянского посольства. Но тут доложили о приезде маркиза де Фарандаля.

Он появился в дверях и остановился. Быстрым, привычным жестом вставил в правый глаз монокль, как будто желая рассмотреть гостиную, куда попал впервые, а также, может быть, для того чтобы подчеркнуть свое появление и дать присутствующим время разглядеть его.

Затем неуловимым движением щеки и брови он сбросил стеклышко, висевшее на черном шелковом шнурке, поспешно направился к г-же де Гильруа и, глубоко поклонившись, поднес к губам протянутую ему руку.

Он поцеловал также руку своей тетке, затем пожал руки всем остальным присутствующим, переходя от одного к другому с изящной непринужденностью.

Это был молодой человек высокого роста, с рыжими усами, уже немного полысевший, с выправкой военного и с замашками английского спортсмена. При взгляде на него чувствовалось, что это один из тех людей, которые работают головою меньше, чем прочими частями тела, и любят только такие занятия, при которых развиваются физическая сила и подвижность. Однако он был образован, так как давно изучал и с великим напряжением ума до сих пор продолжал изучать все то, что ему впоследствии могло пригодиться: историю, тщательно зазубривая даты, не углубляясь в смысл событий, и необходимые депутату элементарные сведения из политической экономии, азбуку социологии, приспособленной для правящих классов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.